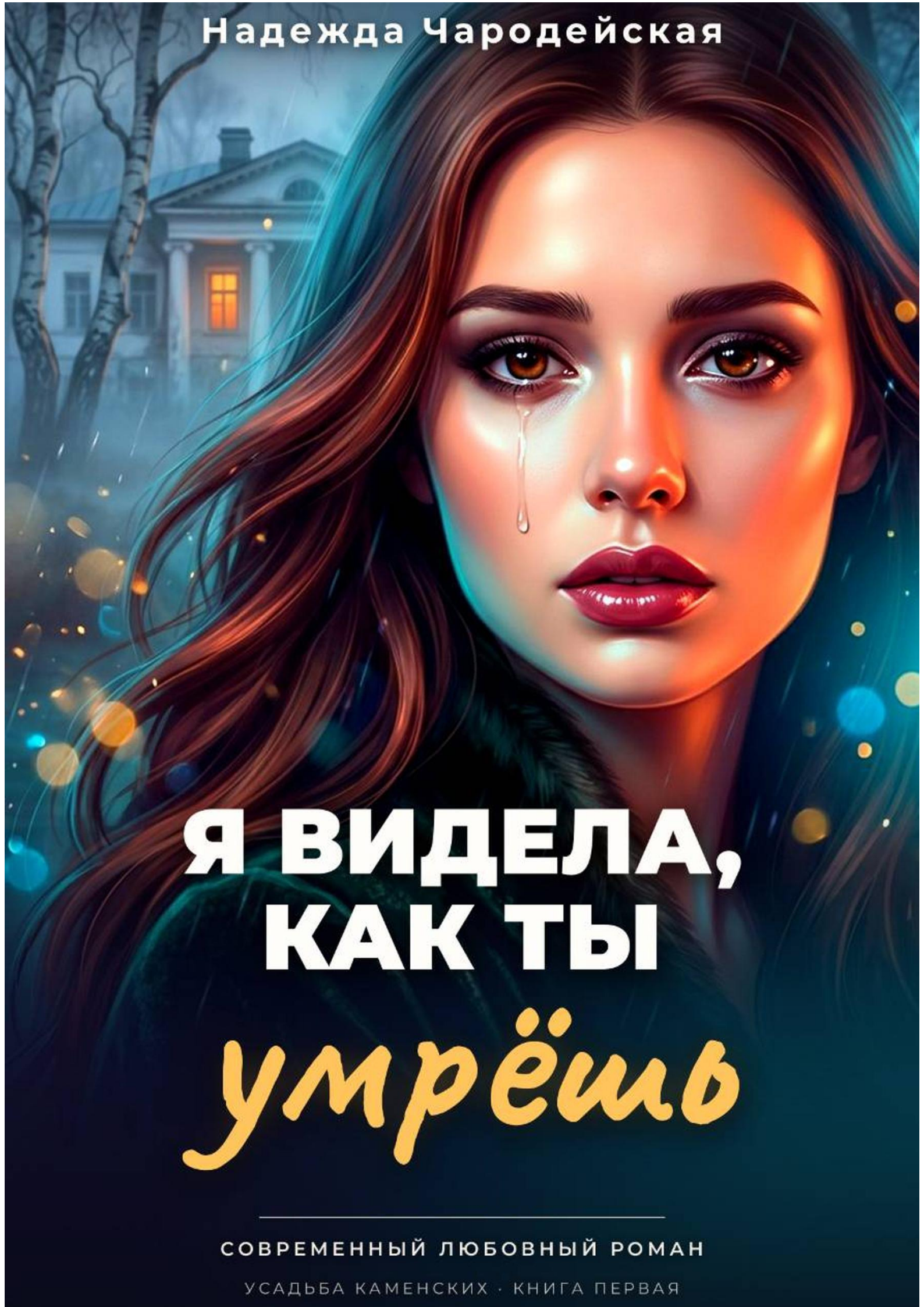


The background of the cover is a digital illustration. It features a close-up of a woman's face with long, wavy brown hair. She has a single tear falling from her right eye. Her expression is somber. In the background, there is a large, white, classical-style mansion with columns and a pediment, set in a dark, rainy night. The scene is lit with a mix of cool blue and teal tones and warm orange and red tones, creating a dramatic and emotional atmosphere. There are also some bokeh light effects in the foreground.

Надежда Чародейская

**Я ВИДЕЛА,
КАК ТЫ**
умрёшь

СОВРЕМЕННЫЙ ЛЮБОВНЫЙ РОМАН

УСАДЬБА КАМЕНСКИХ · КНИГА ПЕРВАЯ

Надежда Чародейская

Я видела, как ты умрешь

«Автор»

2026

Чародейская Н.

Я видела, как ты умрешь / Н. Чародейская — «Автор», 2026

Девять лет назад Марк Ветров сказал участковому три слова, после которых я уехала из города, не забрав вещи. Теперь он купил усадьбу Каменских — ту самую, с заколоченным северным крылом. И ему нужен реставратор. Именно я. Я согласилась ради денег. Я поклялась, что не посмотрю ему в глаза. А потом я открыла окно в северной комнате. За ним не было двора. За ним был вечер, который ещё не наступил: мокрый асфальт, синие огни и человек под белой тканью. Из-под ткани торчала рука с часами, которые я подарила Марку на двадцать первый день рождения. До этого вечера — двенадцать дней. Я ненавижу его так, что задыхаюсь. Я знаю о нём кое-что, чего не знает он сам. И я почему-то не могу дать ему умереть. Каждое видение стоит одного воспоминания. К финалу я забуду, ради кого платила.

© Чародейская Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Усадьба Каменских. Книга первая	5
ПРОЛОГ	6
ГЛАВА 1	7
ГЛАВА 2	9
ГЛАВА 3	11
ГЛАВА 4	13
ГЛАВА 5	15
ГЛАВА 6	17
ГЛАВА 7	19
ГЛАВА 8	21
ГЛАВА 9	23
ГЛАВА 10	26
ГЛАВА 11	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Я видела, как ты умрешь

Усадьба Каменских. Книга первая

* * *

ПРОЛОГ

Асфальт мокрый, и в нём отражаются синие огни.

Я запомню это первым — не тело, не крик, не то, как чьи-то руки будут держать меня за плечи. Именно отражение: длинные синие полосы, дрожащие в воде, будто кто-то пытается стереть их ладонью и не может.

Потом — белую ткань. Слишком белую для этого вечера, для этого дождя, для этой улицы, где всё серое с самого сотворения мира.

И только потом — руку.

Она лежит на асфальте ладонью вверх, чуть согнув пальцы, как будто человек в последний момент хотел что-то взять и не успел решить, что именно. На запястье — часы. Старые, тяжёлые, с царапиной на стекле поперёк цифры девять.

Я знаю эти часы. Я покупала их девять лет назад, зимой, отстояв очередь в ломбарде на Советской, потому что новых таких уже не делали, а он однажды сказал, что у его деда были такие же.

Я подарила их человеку, которого потом научилась ненавидеть так, что от одного его имени у меня сводило скулы.

Я смотрю на его руку на мокром асфальте.

И понимаю, что этого ещё не случилось.

До этого вечера — двенадцать дней.

Двенадцать дней я потрачу на то, чтобы спасти Марка Ветрова. Человека, который забрал у меня сестру, город, имя и половину жизни.

Я до сих пор не могу объяснить, почему.

* * *

ГЛАВА 1

Автобус выезжает из-за поворота, и Затонск открывается весь сразу — как открывается старая книга, если уронить её корешком вниз.

Я девять лет учила себя не помнить этот вид. Оказалось, зря старалась. Он лежит внутри готовый, целый, с водокачкой, с рыжей крышей автостанции, с мостом, у которого правые перила выкрашены, а левые нет — их не докрасили в две тысячи одиннадцатом, и, судя по всему, красить уже не собираются.

За мостом — затон. Вода стоит гладко, тускло, как непротёртое зеркало.

Я отворачиваюсь к проходу.

— Затонск, конечная! — объявляет водитель так, будто это угроза. — Кто до Пески — пересадка через сорок минут.

Я до Затонска.

На площади пахнет пылью и жареными пирожками. Женщина в синем фартуке смотрит на меня чуть дольше, чем нужно, и я вижу, как в её глазах что-то шевелится — не узнавание, а его предчувствие. В маленьких городах у людей особая память: они могут не помнить лица, но точно помнят, что с этим лицом связана какая-то нехорошая история.

Я надвигаю капюшон и иду через площадь.

Мне тридцать один год. У меня диплом художника-реставратора, восемь лет стажа, два обвалившихся заказа подряд и долг в четыреста тысяч за курс лечения, который маме не помог.

И у меня есть письмо.

Оно пришло три недели назад, на рабочую почту, с адреса какой-то строительной конторы. Сухое, короткое, без «уважаемая». Объект — усадьба Каменских, конец восемнадцатого века, требуется полная реставрация интерьеров, срок два месяца, оплата — я перечитала цифру четыре раза, прежде чем поверила.

Внизу подпись: «ООО „Ветров-Строй“».

Я написала «согласна» через одиннадцать минут.

Одиннадцать минут — вот вся цена моей гордости, если разложить её на банковские платежи.

Дорога к усадьбе идёт вдоль воды. Я иду по обочине, по хрусткому щебню, и стараюсь смотреть только под ноги. Слева — затон. Я знаю его наизусть: там, где камыш редее, начинается яма, четыре метра, холодная даже в июле, потому что снизу бьют ключи.

Именно там в две тысячи семнадцатом нашли мою сестру.

Лизе было девятнадцать. Она плавала лучше меня. Она плавала лучше всех в этом городе.

Я иду быстрее.

Усадьба показывается за поворотом — сначала верхушки лип, потом белая коробка главного дома с провалившейся местами кровлей. Восемь колонн по фасаду, две из них подпёрты бревном. Правое крыло почернело от давнего пожара. Левое, северное, стоит целое, но все окна на втором этаже заколочены крест-накрест досками, и доски эти новые, светлые, будто их прибили на прошлой неделе.

Красиво. Господи, как же тут всё-таки красиво.

Я останавливаюсь у ворот и на секунду забываю, зачем приехала. Так со мной всегда: показываешь мне разрушенное здание — и я перестаю быть человеком с биографией. Я вижу слои. Вижу, где под поздней масляной краской лежит клеевая, где штукатурка второй раз, где кирпич подменяли в шестидесятых на силикатный, потому что другого не было.

Я умею снимать чужое время слой за слоем, пока не покажется настоящее.

Это единственное, что я умею по-настоящему хорошо.

У ворот стоит машина.

Чёрная, большая, чистая до неприличия для этих дорог. Она стоит так, как ставят машину люди, которым не приходит в голову, что кому-то может понадобиться проехать.

Из-за машины выходит человек.

Он ещё далеко, метрах в сорока, и лица не видно — солнце сзади, он весь чёрный силуэт на белом фасаде. Он не машет, не окликает, не идёт навстречу. Просто стоит, повернувшись ко мне.

И я его узнаю.

Не по лицу. По тому, как он стоит.

Есть вещи, которые тело помнит помимо тебя. Можно вычеркнуть человека из телефона, из соцсетей, из разговоров с матерью, можно девять лет обходить его имя, как обходят открытый люк. А потом увидеть в сорока метрах чужой силуэт — и у тебя внутри всё обрывается, будто лифт сорвался с троса.

Я стою на щебне с сумкой в руке и очень отчётливо, спокойно думаю:

«Он знал. Он знал, кого зовёт».

* * *

ГЛАВА 2

— Здравствуй, Вера.

Голос ниже, чем был. Он всегда говорил тихо, и людям приходилось наклоняться, чтобы слышать, — и они наклонялись, все, всегда.

Я не наклоняюсь.

— Договор у вас с собой? — спрашиваю я.

Пауза длится ровно секунду. Он ждал чего угодно, только не этого, и я успеваю почувствовать короткое, гадкое удовольствие.

— В доме, — говорит он.

Теперь я вижу его вблизи.

Марк Ветров стал старше — так, как становятся старше мужчины, которые много работают и мало спят. Резче скулы. Складка между бровями, которой раньше не было. Волосы коротко, почти под машинку, и в них у виска — седая прядь, тонкая, как царапина.

Ему тридцать четыре. Он выглядит на сорок и одновременно на двадцать три, и я ненавижу себя за то, что заметила это в первые пять секунд.

— Ты вырос, — говорю я. Получается не так уничижительно, как хотелось.

— А ты нет.

— Я не про рост.

— Я тоже.

Мы стоим у ворот усадьбы Каменских, и между нами метр щебня и девять лет.

— Условия в письме, — говорит он. — Два месяца. Полная реставрация интерьеров главного дома, кроме северного крыла. Смета согласована, материалы за мной, бригада на объекте с понедельника. Аванс тридцать процентов сегодня.

— Кроме северного крыла, — повторяю я.

— Кроме северного крыла.

— Почему?

— Потому что так написано в договоре.

Я смотрю ему в лицо и жду, что он отведёт глаза.

Он не отводит.

— Марк. — Его имя выходит у меня изо рта как что-то испорченное. — Ты понимаешь, что я не буду с тобой разговаривать?

— Понимаю.

— Ни о чём, кроме работы.

— Понимаю.

— Тогда зачем?

И вот тут он всё-таки моргает.

— Ты лучший реставратор в области, — говорит он ровно. — Я проверял. Три года подряд.

— В области восемь реставраторов.

— Семь. Гурин умер в марте.

Я едва не смеюсь. Это самое страшное — что он всё ещё умеет вот так, одной фразой, сбить меня с ненависти на полсекунды.

— Хорошо, — говорю я. — Тогда по делу. Дом мокнет. У вас кровля над центральным объёмом провалена минимум два сезона, значит, перекрытия гнилые, значит, никаких интерьеров, пока не сделаете крышу. Это не два месяца. Это полгода.

— Кровлю закроют за две недели. Временный контур уже заказан.

— Штукатурка?

— Что скажешь, то и купим.

— Я скажу известь. Не гипс. И не «Ротбанд», что бы вам ни советовал прораб.

— Значит, известь.

— Вы даже не спросите, сколько это стоит.

— Нет.

Я замолкаю.

Есть в этом что-то неправильное — настолько, что у меня чешется под лопаткой. Люди с деньгами всегда спорят о деньгах, это у них вместо разговора. А он стоит и соглашается со всем подряд, как человек, который заранее знал, что согласится.

— Зачем тебе этот дом? — спрашиваю я.

— Я его купил.

— Это не ответ.

— Это единственный, который я тебе дам.

Он поворачивается и идёт к крыльцу, не проверяя, иду ли я.

И я иду. Конечно, я иду.

Четыреста тысяч долга. Мама в интернате на Ленина, где койко-место стоит как аренда однушки в Питере. И моя гордость, у которой, как выяснилось, есть цена в рублях и срок годности в одиннадцать минут.

На третьей ступеньке я всё-таки говорю ему в спину:

— Ты сказал участковому, что видел, как я толкнула её.

Он останавливается.

Не оборачивается. Просто стоит, и по спине видно, как у него поднимаются и опускаются плечи — один раз, глубоко.

— Да, — говорит он.

— Скажи, что соврал.

Молчание.

— Скажи, что соврал, Марк. Одно слово. Я даже не спрошу зачем, я просто хочу услышать.

Он поднимается на верхнюю ступеньку и открывает дверь.

— Договор на столе в бывшей столовой, — говорит он. — Ручка там же.

Дверь остаётся открытой. Из неё тянет холодом, известкой и очень старым деревом.

Я стою на ступеньках усадьбы Каменских и понимаю две вещи.

Первая: я подпишу.

Вторая: он до сих пор не умеет врать мне в лицо. Он умеет только молчать — но молчит он теперь профессионально, как человек, который девять лет тренировался.

* * *

ГЛАВА 3

Затонск, июль, девять лет назад

Тем летом вода в затоне была тёплая, как чай, который забыли выпить.

Мне двадцать два, я приехала на каникулы после четвёртого курса и весь июнь ходила с этюдником, потому что нам задали пленэр, а по-настоящему — потому что с этюдником можно сидеть где угодно и на тебя не будут смотреть как на бездельницу.

Марку двадцать пять. Он вернулся из армии, работал у отца в конторе и ненавидел это так, что от него было слышно.

Мы сошлись глупо и быстро, как сходятся в маленьком городе в июле. Он подошёл посмотреть, что я рисую, и сказал:

— Ты нарисовала кран.

— Это водокачка.

— Это кран. Я его в прошлом году ставил.

— Значит, ты плохо его поставил.

Он засмеялся тогда — коротко, будто сам удивился. Я потом целый год делала всё, чтобы он смеялся именно так.

Лиза считала его скучным.

— Он тебе улыбается по расписанию, — говорила она, болтая ногами в воде. — Раз в час, как куранты.

— Он серьёзный.

— Он мёртвый, Верка. Он ходит и думает про свою арматуру.

Ей было девятнадцать, и она имела право говорить кому угодно что угодно, потому что ей всё прощали. Лиза была из тех людей, которые входят в комнату — и комната становится больше. Она плавала до того берега и обратно без остановки. Она красила волосы в цвет, для которого не было названия. Она собиралась в Москву в сентябре и уже сложила чемодан в июне, чтобы «настроение было».

Двадцать девятого июля в половине двенадцатого ночи она пошла купаться на затон.

Одна.

Я не пошла с ней, потому что мы поссорились из-за ерунды, из-за какой-то футболки, я даже не помню чьей.

В час ночи её начали искать.

В четыре утра нашли.

А в семь часов, когда я сидела на ступеньках отделения в чужой куртке и не могла перестать трястись, Марк Ветров вышел из кабинета участкового, прошёл мимо меня и не остановился.

Через два часа мне сказали, что есть свидетель, который видел нас с Лизой на мостках. Что мы кричали друг на друга. Что он видел, как я её толкнула.

Дела не завели. Экспертиза показала утопление, следов насилия нет, свидетель «мог ошибиться в темноте».

Но Затонск — это не суд. Затонску экспертиза не нужна.

К августу мама перестала выходить в магазин. К сентябрю в мою сторону перестали здороваться даже те, кто помнил меня с песочницы. Кто-то написал на нашей калитке одно короткое слово, и отец соскабливал его лезвием два часа, а потом сел на крыльцо и сидел до темноты.

Пятого сентября я уехала первым автобусом.

Я не забрала вещи. Я забрала этюдник и паспорт.

И одну вещь я запомнила навсегда — не крик матери, не воду, не белую простыню.

Я запомнила, как он прошёл мимо меня по ступенькам отделения и не остановился.

* * *

ГЛАВА 4

Внутри усадьба ещё лучше, чем снаружи, — если уметь смотреть.

Я иду по анфиладе и веду ладонью по стене, не касаясь: старая привычка, руки как будто сами меряют штукатурку.

— Пять слоёв, — говорю я вслух. — Нет, шесть.

— Что? — Марк идёт на два шага сзади.

— Здесь шесть слоёв краски. Последний — семидесятые, вот эта зелень, ей красили школы и больницы, её ни с чем не спутаешь. Под ней колер поинтереснее. А в самом низу, скорее всего, клеевая роспись. Если повезёт — родная.

— Как ты это видишь?

— По кромке. Там, где отслоилось.

Он молчит, и я слышу, что он остановился рассматривать кромку.

Вот в чём беда: с ним всегда можно было говорить про работу. Он единственный из всех моих мужчин, кто не начинал скучать на третьей минуте про грунты.

Я иду дальше.

Овальный зал. Здесь потолок держится на честном слове, и на своде проступает розетка — лепная, с акантом, наполовину сбитая. Я задираю голову и стою так долго, что начинает ныть шея.

— Её сбивали топором, — говорю я. — Видишь следы? Не осыпалась. Сбивали.

— Зачем?

— Клуб был. Или зернохранилище. Лепнина мешала вешать плакаты.

Мы проходим бывшую столовую, буфетную, комнату с заложённым камином. Дом огромный, мёртвый и очень терпеливый — он ждал сто лет и подождёт ещё.

В конце анфилады — дверь.

Дубовая, тёмная, с новым врезным замком. Замок блестит на старом дереве, как золотая коронка во рту у покойника.

Я, конечно, иду прямо к ней.

— Вера.

— Северное крыло? — Я берусь за ручку. Ручка не проворачивается.

— Северное крыло.

— Мне надо посмотреть хотя бы состояние перекрытий. Если там гниль, она пойдёт сюда, и вся моя работа...

— Нет.

Одно слово, и в нём столько, что я оборачиваюсь.

Он стоит в трёх шагах и держит руки в карманах, и лицо у него абсолютно спокойное.

Но я знаю это лицо девять лет назад наизусть, и я вижу: у него на скуле дёргается мышца.

Он не запрещает мне. Он боится.

— Что там? — спрашиваю я тихо.

— Аварийное состояние.

— Врёшь.

— Вера...

— Ты умеешь не отвечать, я поняла. Но врать ты не умеешь, ты никогда не умел. — Я делаю шаг к нему. — Что. Там.

За спиной у нас что-то деликатно скрипит.

Мы оба оборачиваемся одновременно.

В дверях овального зала стоит старуха.

Она маленькая, сухая, в мужском пиджаке поверх ситцевого платья и в резиновых сапогах, хотя на улице сухо третью неделю. Волосы белые, собраны в узел, и в узел воткнут карандаш.

— Здравствуйте, — говорю я.

Старуха меня не слышит. Она смотрит.

Смотрит долго, снизу вверх, наклонив голову, — так смотрят на картину, которую видели раньше в другом музее.

— Ада Львовна, — говорит Марк, и в его голосе появляется что-то, чего я не слышала ни разу за сегодня. Осторожность. — Это Вера Соломина, реставратор. Она будет работать в доме.

— Я знаю, кто она, — говорит старуха.

Голос у неё сухой и высокий, как у птицы.

Она подходит ближе. От неё пахнет валерьянкой и почему-то яблоками.

— Соломина, — повторяет она. — Младшая или старшая?

У меня перехватывает горло.

— Старшая, — говорю я.

— Значит, старшая вернулась. — Она кивает сама себе. — Раньше, чем я думала. На год раньше.

— Простите?

Ада Львовна поднимает руку и — я не успеваю отстраниться — берёт меня за подбородок сухими холодными пальцами. Поворачивает моё лицо к свету, как поворачивают чашку, проверяя клеймо.

— Не спишь, — говорит она удовлетворённо. — Хорошо. Спать будешь потом.

— Ада Львовна, — снова говорит Марк.

Она отпускает меня и идёт к двери в северное крыло. Кладёт на дубовую доску ладонь — всей рукой, плашмя, как кладут на лоб больному.

Потом оборачивается ко мне.

— Северное крыло не трогай, — говорит она очень буднично. — И если оно откроется само — не входи. Оно любит, когда приходят злыми, а ты приехала злая, я по ногам вижу.

Она уходит.

Мы стоим с Марком в овальном зале, под сбитой топором розеткой, и молчим секунд десять.

— Кто это? — спрашиваю я наконец.

— Ада Львовна Каменская. Живёт во флигеле с сорок девятого года. Последняя из рода.

— Ты купил дом с ней в комплекте?

— Я купил дом с условием, что она остаётся здесь до конца жизни. — Он смотрит на дверь. — Это было её единственное требование. Не деньги. Это.

Я думаю про сухие холодные пальцы на подбородке.

«Оно любит, когда приходят злыми».

— Марк.

— Что?

— Она сумасшедшая?

Он отвечает не сразу.

— Нет, — говорит он. — В том-то и дело.

* * *

ГЛАВА 5

Марк

Он дождался, пока она уйдёт в бытовку разбирать инструмент, и только тогда поднялся на второй этаж.

Окно в бывшей детской выходило во двор. Отсюда была видна вся площадка: вагончик, штабель бруса, ржавый КамАЗ, который Ким обещал убрать ещё в мае, и она — маленькая фигурка в серой куртке, присевшая на корточки над раскрытым ящиком.

Она разбирала шпатели.

Марк смотрел, как она берёт каждый, проводит большим пальцем по кромке и раскладывает в одном ей понятном порядке. Он помнил этот жест. Девять лет назад она так же перебирала кисти, сидя на полу у него в комнате, и говорила, не поднимая головы: «Не смотри, я думаю».

Он стоял у окна и считал.

Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три.

На счёте «шестьдесят» надо было отойти. Такое у него было правило, он придумал его сегодня утром, в шесть часов, стоя на этом же месте: смотреть не больше минуты. Минута — это по-человечески. Всё, что дольше, — это уже то, за что он не сможет себя оправдать.

Сорок один. Сорок два.

Внизу она нашла среди инструмента что-то не то, вытащила, повертела и швырнула обратно в ящик с такой злостью, что железо загремело на весь двор. Потом сразу, будто устыдившись, наклонилась и аккуратно поправила то, что уронила.

Марк закрыл глаза.

Скажи, что соврал.

Он девять лет прокручивал этот разговор. У него было тридцать вариантов ответа, и в двадцати восьми она в конце концов понимала. В двух — нет. В реальности не сработал ни один, потому что в реальности он вообще ничего не сказал.

Так было правильно.

Так было правильно, потому что если он скажет «соврал», она спросит «зачем». А если она спросит «зачем», он ответит. А если он ответит — она пойдёт к отцу.

А к отцу ходить нельзя.

Марк открыл глаза. Она уже унесла ящик и теперь стояла посреди двора, задрав голову, и смотрела на северное крыло — на заколоченные окна второго этажа.

Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять.

Она стояла и смотрела на них так, как смотрят на человека, который тебя окликнул.

Шестьдесят.

Марк не отошёл.

Он подумал — очень спокойно, как думают про погоду, — что зря её позвал. Что надо было найти другого реставратора, из Воронежа, из Москвы, любого. Что он придумал себе красивое объяснение — «она лучшая», — и это объяснение не выдержит ни одной проверки, потому что дом можно было не покупать вообще.

Потом он подумал ещё одну вещь, от которой ему стало холодно между лопаток.

Ада Львовна сказала: «Раньше, чем я думала. На год раньше».

Он видел старуху почти каждый день полтора года. Она несла чушь про погоду, про кошек, про то, что липы надо белить в апреле, а не в мае. Она ни разу не сказала ничего, что оказалось бы неправдой.

Ни разу.

Внизу, во дворе, Вера наконец опустила голову, поёжилась и пошла к вагончику.

А наверху, в северном крыле, за стеной, у которой он стоял, что-то очень тихо, коротко скрипнуло — так скрипит рама, когда её открывают изнутри.

* * *

ГЛАВА 6

Бригада приезжает в понедельник, и дом наполняется людьми.

Это всегда странный момент: пока ты один, здание разговаривает с тобой. Потом приходят шестеро мужиков с болгаркой, и оно замолкает на весь срок работ.

Прораба зовут Ким. Полностью — Вадим Кимович, но так его никто не называет уже лет двадцать. Ему под сорок, он широкий, лысый, в жилетке поверх голого торса и разговаривает исключительно вопросами.

— Известь, значит? — говорит он, глядя в мою ведомость. — А чего не гипс?

— Потому что стена дышит.

— А она дышит?

— Дышит.

— А если не дышит?

— Тогда через два года ваш гипс отвалится вместе с моей репутацией.

Ким думает секунды три, потом кивает так, будто я сказала пароль.

— Слышь, Соломина. Ты давай к нам вечером в вагончик, чаю. У нас Мамедов лепёшки печёт, мировые. Только Ветрову не говори, он у нас непьющий и негулящий, скучный человек.

— Я тоже скучный человек.

— Ты — нет, — говорит Ким уверенно. — Ты злая. Злые не скучные.

Он оказывается прав насчёт лепёшек и насчёт всего остального.

Первая неделя проходит так, как проходят первые недели на любом объекте: в грязи, в спорах и в мелких победах.

Мы ставим временный контур над центральным объёмом — Марк не соврал, кровельщики приезжают на четвёртый день и работают как заведённые. Мы вскрываем полы в столовой и находим под ними метлахскую плитку, целую на две трети, — я сижу над ней на коленях сорок минут и, кажется, что-то бормочу вслух, потому что Соня потом рассказывает бригаде, что «Вера Андреевна с полом разговаривала».

Соня — моя помощница, двадцать три года, вторая практика, глаза как у совы.

— А это правда, что тут привидение? — спрашивает она на третий день.

— Кто сказал?

— Мужики. Говорят, в северном крыле по ночам свет.

— Это Ада Львовна с фонариком.

— А зачем ей ночью с фонариком в заколоченном крыле?

Я не знаю, что ответить, и поэтому говорю:

— Замешай мне ещё колера. Половину этого тона.

К пятнице мы доходим до холла.

Холл — самое неинтересное помещение в доме: квадратная коробка, четыре двери, никакой лепнины. Стены оклеены обоями в семь слоёв, последние — бумажные, в цветочек, годов девяностых, и они сходят пластами, как загорелая кожа.

Я снимаю их шпателем, почти не думая. Это медитативная работа, под неё хорошо не вспоминать.

Пласт. Ещё пласт. Газета — «Ленинское знамя», март шестьдесят третьего. Ещё пласт.

И тут шпатель идёт как-то не так.

Под последним слоем бумаги — не штукатурка. Под ним что-то плотное, гладкое, с фактурой.

Я откладываю шпатель, беру тампон, смачиваю и веду по бумаге, размягчая её.

Бумага сходит.

Под ней — краска.

Роспись.

Я отступаю на шаг и смотрю.

Это не орнамент. Это сюжетная роспись, клеевая, судя по матовости, — и она отлично сохранилась, потому что сто лет пролежала под бумагой в темноте.

На ней нарисована комната.

Пустая комната, охристая, с полом в косую клетку. В комнате нет мебели, нет людей, нет вообще ничего.

Только окно.

Окно в правой стене, высокое, с частым переплётом. И оно открыто.

А за окном художник нарисовал не сад, не небо и не двор.

За окном — вечер. Тёмно-синий, с дождём, и в этом дожде — жёлтые пятна огней, размытые, будто увиденные сквозь мокрое стекло.

Я стою перед этой стеной с мокрым тампоном в руке.

— Ух ты, — говорит Соня из-за плеча. — Красиво. А чего они окно-то нарисовали?

— Не знаю.

— Странная какая-то картинка. Как будто на улице зима, а по дому лето.

Я не отвечаю.

Я смотрю на нарисованное окно и очень некстати вспоминаю, что комната на росписи — с полом в косую клетку, охристая, с окном в правой стене — расположена, если сопоставить с планом дома, ровно там, где сейчас северное крыло.

Второй этаж.

Третье окно слева.

То самое, которое заколотили новыми светлыми досками.

* * *

ГЛАВА 7

Я держусь три дня.

Три дня я честно работаю, честно не смотрю в сторону дубовой двери, честно говорю себе, что мне тридцать один год, что я профессионал и что интерес к чужой запертой комнате — это не любопытство, а непрофессионализм.

На четвёртую ночь я не сплю.

Я снимаю комнату у Валентины Петровны на Садовой — восемь минут пешком от усадьбы, окно во двор, герань, ковёр на стене. В половине первого я лежу и слушаю, как в трубе капает.

В час я встаю.

Ночь тёплая и очень тихая. Затонск спит по-деревенски основательно: ни машин, ни голосов, только где-то за огородами лает собака, и лает лениво, для порядка.

Усадьба стоит белая в темноте.

У меня есть ключи от главного входа — их выдал Ким на второй день, сказав: «Тебе первой приходиться, тебе и открывать». Замок щёлкает громко, и я замираю, но никто не выходит, нигде не загорается свет.

Внутри темно и холодно.

Я иду по анфиладе с фонариком телефона, и луч выхватывает куски: угол печи, вскрытый пол, стремянку, ведро.

В овальном зале я останавливаюсь и слушаю.

Ничего.

Дубовая дверь в конце анфилады.

Я подхожу и, чувствуя себя полной идиоткой, берусь за ручку.

Заперто. Как и было. Как и должно быть.

Я стою перед ней минуту. Потом ещё минуту.

Потом я говорю вслух — тихо, самой себе, чтобы услышать нормальный человеческий голос:

— Ну и хорошо.

Разворачиваюсь. Иду обратно.

И на третьем шаге сую руки в карманы куртки, потому что холодно.

В правом кармане что-то есть.

Твёрдое, длинное, холодное.

Я вынимаю руку и подношу к свету.

На ладони у меня лежит ключ.

Старый, кованый, с бородкой сложной формы и с проушиной, стёртой до блеска. Такие ключи не подходят к новым врезным замкам. Такие ключи вообще ни к чему не подходят в двадцать первом веке.

Это не мой ключ.

Куртку я купила в позапрошлом году в «Спортмастере». Я ношу её каждый день. Сегодня утром я вынимала из этого кармана мелочь на автобус, и там не было ничего, кроме мелочи и фантика от «Барбариски».

Я стою в темноте посреди овального зала и очень медленно поворачиваю голову.

Дубовая дверь.

И я вижу — отсюда, с шести метров, при свете телефонного фонарика, — что новый блестящий замок на ней есть. Он на месте, он никуда не делся.

А вот выше, там, где я вчера не смотрела, потому что смотрела на новый, — есть второй. Старый. Накладной. С фигурной скважиной.

Я подхожу.

Ключ входит легко, будто в масло.

И где-то далеко в глубине северного крыла, на втором этаже, что-то отзывается — не звук даже, а сдвиг воздуха, как если бы в закрытом доме кто-то открыл форточку.

Я поворачиваю ключ.

* * *

ГЛАВА 8

Лестница внутри северного крыла узкая и на удивление крепкая.

Я поднимаюсь, считая ступени, — двадцать одна, — и на площадке второго этажа останавливаюсь.

Коридор. Три двери слева, окна справа, все заколочены изнутри теми же светлыми досками. Пахнет не плесенью, как должно бы, а сухой пылью и почему-то яблоками.

Третья дверь открыта.

Я подхожу и свечу внутрь.

Комната пустая. Абсолютно: ни мебели, ни хлама, ни даже строительного мусора, которого в этом доме по колено везде. Пол — доска, крашенная в косую клетку, охра и тёмное. Стены охристые.

Всё точно как на росписи в холле.

Кроме одного.

Окно в правой стене не заколочено.

Оно стоит целое, с частым переплётом, со старым волнистым стеклом, и в нём отражается мой фонарик.

Я стою на пороге, и у меня очень громко бьётся сердце — так громко, что я слышу его в ушах.

Разумная часть меня говорит: разворачивайся. Ты нашла запертую комнату с окном. Утром скажешь Марку, что нарушила договор, он тебя уволит, ты вернёшься в Питер, и это будет лучшее, что с тобой случилось за месяц.

Другая часть меня — та, которая девять лет назад не пошла с сестрой на затон, — говорит: посмотри.

Я делаю четыре шага и оказываюсь перед окном.

Через стекло видно двор. Обычный ночной двор: штабель бруса, КамАЗ, светящаяся точка датчика на вагончике. Луна за облаком.

Ничего.

Я стою как дура посреди пустой комнаты и чувствую, как отпускает — и как одновременно становится обидно до слёз.

— Ну и всё, — говорю я вслух. — Ну и правильно.

И берусь за шпингалет, чтобы проверить раму на предмет реставрации, потому что я всё-таки профессионал и потому что рама действительно хорошая, восемнадцатый век, таких почти не осталось.

Шпингалет идёт мягко.

Я толкаю створку.

Окно открывается.

И за ним нет двора.

За ним — вечер.

Не ночь — вечер, поздний, синий, с той особенной глубиной, которая бывает в октябре часов около семи. Идёт мелкий дождь. Двор освещён прожектором на вагончике, и в свете прожектора блестит мокрый брус, мокрая земля, мокрая крыша КамАЗа.

А по двору идёт человек.

Ким.

Он идёт от бытовки к дому, накинув куртку на голову, торопится, обходит лужу. Останавливается у лесов, поднимает голову, что-то кричит наверх — я не слышу, звука нет вообще, ни капли, — и лезет по лестнице.

Я стою у открытого окна и не могу пошевелиться.

Потому что за окном идёт дождь.

А в комнате, в двадцати сантиметрах от меня, за той же самой рамой, — сухая тёплая июльская ночь, и брус лежит светлый и сухой, и никакого прожектора нет.

Ким поднимается на второй ярус лесов. Наклоняется за чем-то.

Настил под ним уходит вбок.

Это происходит очень быстро и очень некрасиво — не как в кино. Он не взмахивает руками. Он просто складывается и падает вниз, и в последний момент цепляет плечом стойку, и стойка идёт следом.

Он падает на бетонную плиту у крыльца и больше не двигается.

Я слышу свой собственный крик, только когда он уже закончился.

Створка захлопывается сама — резко, будто её дёрнули изнутри.

За стеклом двор.

Сухой, лунный, июльский. Штабель бруса. КамАЗ. Точка датчика.

Я сползаю по стене на пол и сижу, обхватив колени, минуты три или тридцать — я не знаю.

Потом достаю телефон.

Половина третьего ночи.

Экран показывает дату, и я смотрю на неё, пока цифры не начинают расплываться.

А потом я делаю единственную разумную вещь, которую могу придумать. Я открываю заметки и пишу:

«Ким. Леса, второй ярус. Вечер, дождь. Настил уходит влево».

И только записав, понимаю, что именно я сейчас сделала.

Я записала то, чего ещё не было.

* * *

ГЛАВА 9

Утром я решаю, что мне приснилось.

Это очень удобная мысль, и я держусь за неё, как за поручень. Я не спала нормально четыре ночи. Я вернулась в город, где похоронена моя сестра. Я каждый день вижу человека, из-за которого уехала. Любой психотерапевт за две тысячи рублей объяснит мне, что усталый мозг умеет показывать кино.

Проблема одна.

В кармане куртки лежит ключ.

Я вынимаю его на кухне у Валентины Петровны, при свете, и кладу на клеёнку рядом с чашкой. Кованый, тёмный, с бородкой в три уступа. На проушине — потёртость от пальцев, за двести лет.

— Ой, а это чей? — Валентина Петровна ставит передо мной яичницу и утыкается в ключ носом. — Красивый какой. Старинный.

— Нашла в доме.

— В доме, — соглашается она с готовностью. — Там чего только нет. Мужики в прошлом году монеты копали, так им Ада Львовна такой скандал устроила, ужас.

Я ем яичницу и думаю, что если бы это был сон, ключ бы приснился тоже.

На объект я прихожу в семь.

День идёт как обычно, и от этого делается только хуже: мир вокруг ведёт себя нормально, а я хожу по нему с ощущением, что у меня внутри что-то отклеилось. Мы с Соней начинаем расчистку росписи в холле. Ким гоняет бетонщиков. Мамедов поёт. Солнце.

К одиннадцати я почти успокаиваюсь.

К часу я успокаиваюсь совсем.

А в половине пятого я выхожу во двор за водой и вижу, как Ким лезет на леса.

Я останавливаюсь.

Леса стоят у северного фасада — их поставили позавчера, чтобы снимать промеры под кровельщиков. Второй ярус. Настил из доски-сороковки, положенный, как всегда кладут на две недели, — то есть кое-как.

Ким поднимается по лестнице, придерживая рулетку.

Всё сухо. Светло. Никакого дождя, никакого прожектора, четыре часа дня, июль.

Я стою с пустым ведром и говорю себе: это ничего не значит. Он лазает по этим лесам двадцать раз в день. Ты видела сон, в котором прораб лезет на леса, — поздравляю, ты гений, тебе приснилось самое частое событие на любой стройке.

Ким выходит на настил.

Я не двигаюсь.

Он идёт к углу, наклоняется, разматывает рулетку, что-то бурчит. Настил под ним держит. Он выпрямляется, записывает цифру на ладони — у него всегда цифры на ладони, — и спускается.

Всё.

Я иду за водой и чувствую себя полной дурой, и это прекрасное, лёгкое чувство, я готова носить его весь день.

Гроза приходит в семь.

Она приходит так, как приходят летние грозы в этих местах: за двадцать минут, из ниоткуда, сожрав полнеба с востока. Ещё в половине седьмого было солнце. В без десяти семь Мамедов бежит через двор с фанерой на голове, и первые капли бьют по КамАЗу, как камни.

Я сижу в вагончике над ведомостью, и у меня медленно, очень медленно поднимаются волосы на предплечьях.

Я достаю телефон и открываю прогноз.

«Ясно. Вероятность осадков 4%».

— Твою мать, — говорю я вслух.

— Чего? — не отрываясь от бумаг, спрашивает Соня.

Я уже в дверях.

Двор мокрый. Прожектор на вагончике включился по датчику, и в его свете косо летит дождь, и мокрый брус блестит, и мокрая крыша КамАЗа блестит, и всё это я уже видела ночью, стоя у открытого окна на втором этаже северного крыла.

От бытовки к дому идёт человек. Накинув куртку на голову. Обходит лужу.

— КИМ!

Он не слышит. Дождь лупит по железу так, что не слышно вообще ничего.

Я бегу.

Я бегу через двор в кроссовках по щёбню, вода в лицо, и я вижу, как он останавливается у лесов, поднимает голову, кричит что-то наверх — там никого нет, но он кричит, наверное, зовёт, — и берётся за лестницу.

— КИМ, СТОЙ!

Он оборачивается на секунду. Одну секунду. Уже с ноги на первой ступеньке.

— Чего?! — орёт он.

— НЕ ЛЕЗЬ!

— Да я на минуту, там рубероид не прижали, унесёт же...

— НЕ ЛЕЗЬ ТУДА!

Я добегаю и хватаю его за руку — обеими руками, вцепляюсь в мокрый рукав, и он от неожиданности спускает ногу обратно на землю.

— Ты чего, Соломина? — Он смотрит на меня сверху вниз, вода льётся с его лысины, и лицо у него не испуганное, а именно что удивлённое. — Ты чего вообще?

— Настил, — говорю я. Голос у меня чужой. — Второй ярус. Настил не закреплён.

— Да закреплён.

— Проверь.

— Я вчера сам...

— Ким. Проверь.

Что-то в моём лице заставляет его замолчать.

Он смотрит на меня ещё две секунды, потом коротко матерится, отпускает лестницу, идёт к штабелю и берёт оттуда длинную рейку — метра четыре. Возвращается. Задирает голову. И тычет рейкой в настил второго яруса снизу, не влезая.

Доска сдвигается.

Она сдвигается легко, целым щитом, влево — сантиметров на тридцать, — и повисает на одном краю, и в открывшуюся щель сразу начинает лить вода.

Мы оба стоим и смотрим вверх.

— Вась, — говорит Ким очень тихо, ни к кому не обращаясь. — Вась, я ж вчера сам...

Он опускает рейку. Оборачивается ко мне.

— Ты откуда знала?

Дождь идёт стеной. Я стою перед ним мокрая насквозь, с прилипшими ко лбу волосами, и у меня есть ровно два варианта.

— Утром видела, — говорю я. — Снизу. Показалось, что край гуляет.

— Показалось, — повторяет он.

— Да.

Ким смотрит на меня ещё немного. У него хорошее лицо — простое, широкое, привыкшее верить людям, потому что иначе на стройке нельзя.

— Ну, показалось так показалось, — говорит он наконец. — Спасибо, Соломина.

Он идёт к вагончику, потом останавливается и оборачивается.

— Слышь. Я бы там наверху за рубероид взялся. Двумя руками. Спиной к краю.

— Знаю, — говорю я.

И только потом соображаю, что сказала.

* * *

ГЛАВА 10

Ночью мне снится собака.

Она бежит по берегу затона, вся мокрая, чёрная с рыжими подпалинами, и оборачивается, и ждёт, и я знаю, что надо её позвать, надо крикнуть — а я стою и не могу.

Я просыпаюсь в пять утра оттого, что не помню, как её звали.

Сначала это даже не страшно. Просто пустое место — вот было слово, и нет слова. Я лежу и перебираю: Найда? Нет. Джек? Нет. Дик? Нет, у соседей был Дик.

Наша прожила у нас одиннадцать лет. Отец подобрал её щенком у мясокомбината. Она спала под верандой, боялась гроз и один раз укусила почтальона за то, что он замахнулся газетой на Лизу.

Я помню всё. Веранду, грозы, почтальона.

Я не помню имя.

Я сажусь на кровати и минут двадцать честно, методично пытаюсь его достать — как достают предмет из-под шкафа: подцепить хоть за что-нибудь. Первая буква. Сколько слогов. Как звучало, когда мама звала со двора.

Ничего.

Там не туман. Там аккуратная дырка с ровными краями, как будто кто-то вырезал слово скальпелем и заклеил место обоями.

В шесть я иду к усадьбе.

Ада Львовна живёт во флигеле — низком кирпичном домике за липами, с крылечком в две ступени и с бельём на верёвке. В шесть утра она уже сидит на этом крылечке в своём мужском пиджаке и чистит яблоки.

Вот откуда яблоки. Я почему-то от этого дурею — от простоты объяснения.

— Пришла, — говорит она, не поднимая головы.

Я останавливаюсь у крыльца.

— Ада Львовна, я нарушила запрет.

— Я знаю.

— Я вошла в северное крыло.

— Знаю.

— Я открыла окно.

Она откладывает нож.

Поднимает голову. Глаза у неё выцветшие, но смотрят так, что хочется выпрямить спину.

— Что забыла? — спрашивает она.

И вот тут у меня по-настоящему подкашиваются ноги.

Я сажусь прямо на нижнюю ступеньку, боком, потому что стоять больше не выходит.

— Собаку, — говорю я. — Как звали нашу собаку.

— Небольшое, — кивает она. — В первый раз всегда небольшое. Оно пробует, что ты отдашь легко.

— Что это, Ада Львовна?

— Окно.

— Это не ответ.

— Другого нет. — Она берёт следующее яблоко. — Я живу с ним семьдесят семь лет, девочка. У меня для него есть только одно слово, и это слово «окно». Всё остальное придумывают те, кто в нём не был.

Она чистит яблоко одной длинной лентой, не отрывая кожуру, и я смотрю на эту ленту как замороженная.

— Расскажите правила, — говорю я.

— Правил четыре. — Она не удивляется вопросу, и это пугает больше всего. — Первое. Оно показывает вечер. Всегда вечер, никогда утро, я не знаю почему. От завтрашнего дня до четырнадцатого. Дальше не видит.

— Второе?

— Показывает того, о ком ты думала, когда бралась за шпингалет. Не кого хотела. О ком думала. Это разные вещи, запомни.

Я думала о Лизе. А увидела Кима.

Нет — я думала о Лизе, а потом сказала вслух «ну и всё, ну и правильно», и в этот момент мне было стыдно перед Кимом, потому что днём я на него наорала из-за извести.

Господи.

— Третье?

— Больше одного раза в сутки не откроется. Не пытайся, руку сломаешь.

— А четвёртое?

Ада Львовна кладёт яблоко в миску.

— Четвёртое ты пока не заслужила, — говорит она. — Четвёртое узнаешь, когда захочешь что-нибудь изменить всерьёз. Не доску подпереть. Всерьёз.

— Я уже изменила. Ким должен был упасть, и он не упал.

— Ким должен был упасть с лесов, — поправляет она. — Это не «всерьёз». Это как палкой воду разогнать: разошлась и сошлась.

Она встаёт, отряхивает пиджак.

— Ада Львовна. Я могу перестать? Просто не ходить туда?

— Можешь.

— И оно меня отпустит?

Старуха смотрит на меня сверху, с крыльца, очень долго.

— Оно тебя и не держит, — говорит она. — Оно вообще ничего не делает, девочка. Оно просто открывается тем, кому очень надо. — Она подбирает миску. — Тебе очень надо. Я это по тебе с первого дня вижу. Ты приехала не деньги зарабатывать, ты приехала выяснять.

Она уходит в дом и уже в дверях бросает через плечо:

— Ключ не выбрасывай. Он всё равно вернётся, а ты будешь думать, что сходишь с ума.

Обидно зря думать.

Дверь закрывается.

Я сижу на ступеньке флигеля в шесть утра и понимаю, что впервые за девять лет мне есть с кем поговорить.

Это самое плохое, что случилось со мной за неделю.

* * *

ГЛАВА 11

Дальше три дня я работаю как проклятая.

Это мой способ. Другие пьют, ходят к психологу, звонят подругам в два часа ночи. Я беру скальпель и снимаю слои.

Роспись в холле оказывается лучше, чем я смела надеяться: клеевая, конец восемнадцатого, авторская, с подмалёвком. Мы с Соней раскрываем её по квадратам, и я захожу в то состояние, ради которого вообще пошла в профессию, — когда исчезает время.

К четвергу я раскрываю нижний левый угол.

И нахожу подпись.

Не подпись даже — надпись, мелкую, кистью, по охре: буквы старые, но читаются.

«Кто смотрит — платит»

Я стою перед этой строчкой очень долго.

— Вер, а тут написано чего-то, — говорит Соня из-за плеча. — «Кто смотрит, платит»? Это к чему?

— Это про зрителей, — говорю я. — Восемнадцатый век. Заказчик так шутил: мол, любуетесь — раскошеливайтесь.

Соня смеётся. Я тоже смеюсь.

Вечером я остаюсь в доме одна.

Не специально — просто в семь у меня ещё не сделаны обмеры по буфетной, а в восемь я уже понимаю, что не пойду домой, и в девять я перестаю врать себе и иду в овальный зал.

Ключ, конечно, в кармане. Он там с утра. Я вынимала его вчера, положила на подоконник у Валентины Петровны, а сегодня в автобусе нащупала в куртке и даже не удивилась.

Дубовая дверь.

Второй замок, накладной, с фигурной скважиной.

Я стою перед ним и держу руку в кармане на ключе.

О ком ты думала, когда бралась за шпингалет.

Я думаю: о Лизе. Мне нужно про Лизу. Мне нужно понять, что было той ночью на затоне, — и если эта проклятая комната показывает будущее, то, может быть, она покажет хотя бы того, кто знает про прошлое.

Я думаю: о Лизе, о Лизе, о Лизе.

За спиной щёлкает выключатель, и в овальном зале загорается лампочка на проводе.

— Вера.

Я оборачиваюсь.

Марк стоит в дверях анфилады. В рубашке, без пиджака, с закатанными рукавами — он приезжал днём, что-то смотрел с кровельщиками, я видела его машину и старательно не выходила.

Он смотрит на мою руку в кармане.

— Отдай ключ, — говорит он.

Он знает.

Он знает про ключ, знает, что он у меня, и, судя по лицу, знает уже не первый день.

— Какой ключ? — говорю я.

— Вера.

— Ты запретил мне северное крыло по договору. В договоре не написано, что я не могу стоять в овальном зале.

— Отдай ключ.

Он делает шаг.

И я вдруг понимаю, что он идёт не ко мне. Он идёт к двери — встать между мной и дверью, — и он идёт быстро, и на лице у него то самое, что я видела в первый день: не злость. Страх.

Я успеваю раньше. Не потому что быстрее, а потому что ближе.

Я встаю спиной к дубовой доске и упираюсь в неё ладонями.

— Что там? — говорю я.

— Уйди оттуда.

— Что там, Марк?

— Вера, я тебя прошу.

— Ты меня просишь. — У меня начинает звенеть в голове, тонко, как перед обмороком. — Ты меня просишь. Знаешь, сколько раз я тебя просила? Один. Ровно один раз, десять дней назад, на крыльце. Сказать одно слово.

— Это другое.

— Это то же самое! — Я слышу собственный крик и не могу его остановить. — Ты опять решаешь за меня, что мне можно знать! Ты девять лет назад решил, что мне нельзя знать, и я уехала из города с клеймом, и мой отец умер через полтора года, и он до последнего дня думал, что я...

Я замолкаю.

Он стоит в двух шагах. Не подходит.

— Договаривай, — говорит он тихо.

— Нет.

— Договаривай, Вера.

— Он думал, что я убила Лизу! — Голос срывается. — Мой отец. Он меня не спрашивал ни разу, понимаешь? Ни разу за полтора года. Потому что боялся, что я отвечу «да».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.